

Содержание

Пролог	11
Часть I	17
Часть II	143
Часть III	273
Часть IV	333
Часть V	379

Ричарду и Кэтрин — моим родителям и путеводным звездам

Эйвери и Оуэну — моему вдохновению

Эрику — моему навсегда

И наступает миг, когда
Ты говоришь лесам и морю,
Горам и всей земле:
Ну вот, теперь готов.

Энни Диллард

Пролог

Представьте себе, сколько там всего, на черном дне озера. Мусор, приносимый рекой и сбрасываемый с лодок, с годами истрепывается, смягчается. Губастые рыбы проплывают свои странные жизни, держась подальше от крючка, двигаясь и дыша неразделимо. Представьте себе вихляющие клочки озерной тины — так танцуют гибкие и стройные женщины, когда никто не смотрит. Встаньте у самой кромки, позвольте тихим волнам заглотнуть ваши туфли, пока вы представляете себе, насколько близко подошли к этому миру, такому же тихому и непостижимому, как лунный, ведь и сюда не добивает свет, тепло и звуки.

Мой дом — на дне озера. Там лежит наша ферма, погруженная в ил, ее останки не отличишь от обломков затонувших лодок. Глянцевая форель прочесывает мою бывшую комнату, а еще гостиную, где мы с семьей собирались по воскресеньям. Гниют амбары и корыта. Ржавеет спутанная колючая прово-

лока. Земля, прежде плодородная, теперь маринуется в праздности.

В учебниках по истории создание водохранилища Блю-Меса могут сколько угодно представлять в героическом свете, как часть грандиозного проекта по перемещению драгоценной воды из притоков Колорадо на засушливые земли Юго-Запада. Возможно, бывшую бурную реку Ганнисон и в самом деле заткнули и принудили стать озером из самых благих намерений, но я-то знаю совсем другую историю.

Я, бывало, стояла в этой части Ганнисона по колени в воде, когда река еще текла, стремительно и бурно, через родную мою долину, а над ней высились бескрайние и бесприютные горы Биг-Блю. Я знала городок Айола, когда он просыпался по утрам к ароматному завтраку, к работе на ферме и хозяйственным заботам, и видела, как восходящее солнце освещает восточную сторону Мейн-стрит, потихоньку продвигается вверх, через железнодорожные пути и школьный двор и наконец зажигает красно-синий витраж единственного круглого окошка крошечной церкви. Я мерила жизнь по глухим паровозным гудкам в 9.22, 14.05, 17.47. Мне были известны все кратчайшие дороги городка, все его жители и то самое старое и кривое дерево, которое исправно приносило лучшие персики в нашем саду. А еще мне была известна — возможно, даже лучше, чем другим, — печаль этих мест.

Благие намерения переместили кладбище Айолы высоко на холм (хочется верить, что все надгробия моей семьи совпали с соответствующими остан-

ками), где оно так до сих пор и находится, за белой железной оградой, просевшей и прогнувшейся под тяжестью снега. Вся прочая Айола, штат Колорадо, была затоплена — с самыми благими намерениями.

Представьте себе город, молчаливый, забытый, разлагающийся на дне озера, которое когда-то было рекой. Если вы при этом зададитесь вопросом, удалось ли водам потопа смыть все здешние радости и беды, то я вам отвечу: нет, не удалось. Пейзажи юных лет нас создают, мы уносим их в себе и, в зависимости от того, что они даровали нам и чего лишили, становимся тем, чем становимся.

Часть I
1948–1949

Глава первая

1948

Вида он был невзрачного.
Во всяком случае, на первый взгляд.
— Извините, — сказал молодой человек, коснувшись потемневшими от грязи большим и указательным пальцами козырька потрепанной красной бейсболки. — К ночлежке так дойду?

Всего-то. Самый обыкновенный вопрос от неумытого незнакомца, шагающего по Мейн-стрит как раз в тот момент, когда я дошла до перекрестка с улицей Норт-Лора.

Комбинезон и руки были у него сплошь в чем-то черном — я предположила, что это колесная смазка или несколько слоев пыли с полей, хотя цвет уж чересчур темный и для того, и для другого. Щеки тоже были в грязи, но сквозь дорожки пота просвечивала загорелая кожа. И прямые черные волосы торчали из-под кепки.

То осеннее утро было таким же обыкновенным, как овсянка и яичница, которые я подала мужчинам на завтрак. Да и после завтрака я тоже не заметила

ничего особенного — пока выполняла привычные дела по дому, задавала корм смиренным животным, собирала в утренней прохладе две корзины поздних персиков и развозила их, как и в любой другой день, уложив в расшатанную тележку, пристегнутую к велосипеду, и когда вернулась домой готовить обед. Но теперь-то я уже знаю, что восхитительное скрывается за обыкновенным — как тот глубокий и таинственный мир, что лежит под гладью моря.

— Куда угодно так дойдете, — ответила я.

Я не пыталась сострить или заслужить его внимание, но судя по тому, как он притормозил, чуть развернувшись, и как скривились в едва заметной улыбке его губы, видно было, что мой ответ его повеселил. У меня из-за этого его взгляда внутри все подпрыгнуло.

— В смысле, городок маленький, — попыталась я поправить дело, разъяснить, что я не из тех девочек, на которых парни обращают внимание и которым криво улыбаются, нарочно остановившись на перекрестке.

Глаза у незнакомца были темные и блестящие, как вороново крыло. А еще добрые — вот что я успела отметить во время первого его коротенького взгляда и потом еще раз — во время второго, долгого: доброта будто хлестала откуда-то из самой его глубины и переливалась через край, как вода из переполненного колодца. Он посмотрел на меня изучающе и по-прежнему улыбаясь, а потом снова дернул за козырек кепки и зашагал дальше в сторону постоянного двора Данлэпа, почти в самом конце Мейн-стрит.

Я сказала правду: по этой раздолбанной дороге можно было дойти до чего угодно. Помимо ночлежки Данлэпа у нас была еще гостиница “Айола” для тех, кто побогаче, и сзади к ней прижималась пивная — для тех, кто любит выпить; “Джерниганс стэндарт”, совмещавшая в себе заправочную станцию, скобяную лавку и почтовое отделение; кафе, из которого всегда пахло кофе и беконом; и Большой Магазинчик Чапмена с бакалеей, гастрономическим отделом и избытком сплетен. На западном краю всего этого высился флагшток между школой, в которую я когда-то ходила, и белой дощатой церковью, где, бывало, сидели все члены нашей семьи, умытые и нарядные, каждое воскресенье, пока мать была жива. А дальше Мейн-стрит резко упиралась в склон холма — точкой после короткого предложения.

Я двигалась в том же направлении, что и незнакомец — шла вытаскивать брата из покерного логова на задворках заправки “Джерниганс”, — но мне вовсе не хотелось плестись за ним следом. Я задержалась на углу и, загоротившись ладонью от полуденного солнца, стала разглядывать его удаляющуюся фигуру. Он шагал медленно и безмятежно, как будто каждый следующий шаг и был целью его движения: руки болтались взад-вперед, а голова будто немножко за ним не поспевала. Пропыленная белая футболка туго обтягивала плечи под помочами комбинезона. Он был строен и мускулист, что выдавало в нем батрака.

Будто почувствовав на себе мой пристальный взгляд, он вдруг обернулся и сверкнул улыбкой, посреди чумазого лица просто ослепительной. Я ахнула, застигнутая врасплох. От груди к щекам взмет-

нулась жаркая волна. Он снова приветственно дернул козырек, как тогда, отвернулся и пошел себе дальше. Лица его я не видела, но почти не сомневалась в том, что он так и улыбается во весь рот.

Сейчас, оглядываясь назад, я знаю, что мгновение то было судьбоносным. Ведь я же могла повернуть назад и двинуть обратно по Норт-Лорастрит — домой, готовить ужин, а Сет бы пускай притащился на ферму, когда сам захочет, ввалился бы в дверь на глазах у папы и дяди Ога и сам бы расплачивался за свои грехи. Ну или, по крайней мере, я бы могла перейти на другую сторону Мейнстрит, чтобы между нашими тротуарами пролегал ряд желтеющих тополей и изредка проезжали автомобили. Но я предпочла этого не сделать, и это было лучшее решение в моей жизни.

Вместо этого я очень медленно шагнула вперед — раз, потом другой, интуитивно догадываясь о значимости каждого осознанного движения: поднять ногу, выпрямить и опустить на землю.

Со мной никто и никогда не говорил о том, что такое привлекательность. Когда моя мать умерла, я была слишком маленькой, и от нее я этих секретов узнать не успела, да и вообще сложно представить, чтобы она стала ими со мной делиться. Она была очень тихой и благопристойной женщиной, чрезмерно послушной Господу Богу и возлагаемым на нее надеждам. Насколько я помню, нас с братом она любила, но ее привязанность проявлялась лишь в строго очерченных пределах, и она направляла нас, движимая тяжелым страхом перед тем, в каком виде все мы предстанем перед Богом в Судный день.

Иногда мне доводилось краем глаза заприметить ее тщательно скрываемые чувства: они выплескивались, когда нам с братом надирали задницы черной резиновой мухобойкой, или расплывались бледными пятнышками быстро утираемых слез, когда мать поднималась после молитвы, но я ни разу не видела, чтобы она поцеловала отца или хотя бы раз сжала его в объятьях. Хотя родители успешно руководили фермой и были друг для друга надежными партнерами, я не наблюдала между ними той любви, какая свойственна мужчине и женщине. Для меня чувственность была таинственной землей без карты.

Разве только вот что: в те унылые осенние сумерки я смотрела в окно гостиной, мне тогда только-только исполнилось двенадцать, и по мокрому гравию к дому подъехал шериф Лайл на своем длинном черно-белом автомобиле и как-то неуверенно приблизился к отцу, который вышел во двор. Сквозь пар собственного дыхания на стекле я увидела, как папа медленно падает на колени, прямо так, в свежую грязь после дождя. Я уже давно выглядывала в окне мать, двоюродного брата и тетю, которые возили персики через перевал в Каньон-сити и должны были вернуться еще несколько часов назад. Отец тоже их высматривал и так волновался из-за их отсутствия, что весь вечер сгребал жухлые листья, которые обычно оставлял на траве на зиму, чтобы из них получился компост. Когда отец согнулся под тяжестью слов Лайла, мое детское сердце пронзили две великие истины: отсутствующие члены моей семьи домой уже не вернуться, и мой отец любил мою мать. Они никогда не демонстри-

ровали своей любви и никогда о ней не говорили, но вот теперь я поняла, что на самом-то деле они ее знали — на свой собственный молчаливый лад. Вот эта их почти неосязаемая связь — а еще сухие, будто ничего не произошло, глаза отца, когда спустя какое-то время он вошел в дом и мрачно сообщил нам с Сетом известие о маминой смерти, научили меня, что любовью не делятся с другими: и когда ее возвращают и лелеют, и даже когда по ней скорбят, она — личное дело двоих. Она принадлежит только им и никому больше, как секретное сокровище, как стихотворение, написанное втайне ото всех.

А больше я ничего о любви не знала — особенно о том, как она начинается, и об этой необъяснимой тяге к другому человеку: почему какие-то парни проходят мимо, и ты их не замечаешь, а этот вдруг цепляет тебя чем-то таким же неотвратимым, как притяжение Земли, и отныне ты не можешь думать ни о чем другом.

С этим парнем мы шли в одно и то же время по одному и тому же узкому тротуару одного и того же богом забытого колорадского городишка, и расстояние между нами было не больше, чем в полквартала. Я следовала за ним и думала, что ведь откуда бы он ни пришел, где бы ни был его дом и какой бы ни была его жизнь, мы с ним прожили свои семнадцать лет — возможно, он немного дольше, а может, немного меньше, — не имея ни малейшего представления о существовании друг друга на этой земле. А теперь, в это самое мгновение, по какой-то причине наши жизни вдруг пересекались так же неоспоримо, как Мейн и Норт-Лора.

Сердце зашпешило: расстояние между нами уменьшилось сначала с трех домов до двух, а потом до одного, и я поняла, что он медленно, но верно снижает скорость.

Я не представляла, что делать. Если я тоже начну замедляться, он решит, что я за ним повторяю, слишком уж пристально слежу за незнакомым человеком. А если продолжу идти ровным шагом, то очень скоро его нагоню, и что тогда? Или, еще хуже, пройду мимо, и буду чувствовать на спине его прожигающий взгляд. Он, конечно же, заметит мою неуклюжую походку, голые икры и стоптанные кожаные туфли, а еще старое школьное платье бордового цвета, которое мне давно мало, и обыкновенность моих прямых каштановых волос, с воскресенья не мытых.

В общем, я замедлилась. И, будто прикрепленный ко мне невидимой ниточкой, он замедлился тоже. Я еще сбавила скорость, и он сбавил, он теперь едва двигался. И наконец совсем остановился. У меня больше не было выбора — пришлось сделать то же самое, и вот мы оба стояли, как две дурацкие статуи, посреди Мейн-стрит.

Я чувствовала, что он стоит на месте ради шалости. Я вся обмерла от страха, нерешительности и сбивающих с толку первых раскатов желания. Об этом парне я знала всего несколько минут и меньше квартала, а у меня из-за него уже все внутренности вертели, как камешки на дне бурной реки.

Я не услышала ни пухлой жены доктора, ни стальных колес ее детской коляски, которые нагоняли меня сзади. Когда миссис Бернет и ее ребенок возникли